Лев Толстой

Рубка леса. Рассказ юнкера

Лев Николаевич Толстой
Рубка леса. Рассказ юнкера

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174901

Аннотация

«В середине зимы 185… года дивизион нашей батареи стоял в отряде в Большой Чечне. Вечером четырнадцатого февраля, узнав, что взвод, которым я командовал, за отсутствием офицера, назначен в завтрашней колонне на рубку леса, и с вечера же получив и передав нужные приказания, я раньше обыкновенного отправился в свою палатку и, не имея дурной привычки нагревать ее горячими углями, не раздеваясь лег на свою построенную на колышках постель, надвинул на глаза папаху, закутался в шубу и заснул тем особенным крепким и тяжелым сном, которым спится в минуты тревоги и беспокойства перед опасностью. Ожидание дела назавтра привело меня в это состояние…»

Содержание

I	4
II	9
III	13
IV	19
V	24
VI	28
VII	33
VIII	37
IX	40
X	42
XI	45
XII	52
XIII	57

Лев Николаевич Толстой
Рубка леса. Рассказ юнкера

I

В середине зимы 185… года дивизион нашей батареи стоял в отряде в Большой Чечне. Вечером четырнадцатого февраля, узнав, что взвод, которым я командовал, за отсутствием офицера, назначен в завтрашней колонне на рубку леса, и с вечера же получив и передав нужные приказания, я раньше обыкновенного отправился в свою палатку и, не имея дурной привычки нагревать ее горячими углями, не раздеваясь лег на свою построенную на колышках постель, надвинул на глаза папаху, закутался в шубу и заснул тем особенным крепким и тяжелым сном, которым спится в минуты тревоги и беспокойства перед опасностью. Ожидание дела назавтра привело меня в это состояние.

В три часа утра, когда еще было совершенно темно, с меня сдернули обогретый тулуп, и багровый огонь свечки неприятно поразил мои заспанные глаза.

«Извольте вставать», – сказал чей-то голос. Я закрыл глаза, бессознательно натянул на себя опять тулуп и заснул. «Извольте вставать», – повторил Дмитрий, безжалостно раскачивая меня за плечо. «Пехота выступает». Я вдруг вспом-

нил действительность, вздрогнул и вскочил на ноги. Наскоро выпив стакан чаю и умывшись оледенелой водой, я вылез из палатки и пошел в парк (место, где стоят орудия). Было темно, туманно и холодно. Ночные костры, светившиеся там и сям по лагерю, освещая фигуры сонных солдат, расположившихся около них, увеличивали темноту своим неярким багровым светом. Вблизи слышался равномерный спокойный храп, вдали движение, говор и бряцанье ружей пехоты, готовившейся к выступлению; пахло дымом, навозом, фитилем и туманом; по спине пробегала утренняя дрожь, и зубы против воли ощупывали друг друга.

Только по фырканью и редкому топоту можно было разобрать в этой непроницаемой темноте, где стоят запряженные передки и ящики, и по светящимся точкам пальников – где стоят орудия. Со словами: «С богом», зазвенело первое орудие, за ним зашумел ящик, и взвод тронулся. Мы все сняли шапки и перекрестились. Вступив в интервал между пехотою, взвод остановился и с четверть часа дожидался сбора всей колонны и выезда начальника.

– А у нас одного солдатика нет, Николай Петрович! – сказала, подходя ко мне, черная фигура, которую я только по голосу узнал за взводного фейерверкера Максимова.

– Кого?

– Веленчука нет-с. Как запрягали, он все тут был – я его видал, – а теперь нет.

Так как нельзя было предполагать, чтобы колонна тро-

нулась сейчас же, мы решили послать отыскать Веленчука строевого ефрейтора Антонова. Скоро после этого мимо нас в темноте прорысило несколько конных: это был начальник со свитой; а вслед за тем зашевелилась и тронулась голова колонны, наконец и мы, – а Антонова и Веленчука не было. Однако не успели мы пройти сто шагов, как оба солдата догнали нас.

– Где он был? – спросил я у Антонова.

– В парке спал.

– Что, он хмелен, что ли?

– Никак нет.

– Так отчего же он заснул?

– Не могу знать.

Часа три мы медленно двигались по каким-то непаханым, бесснежным полям и низким кустам, хрустевшим под колесами орудий, в том же безмолвии и мраке. Наконец, перейдя неглубокий, но чрезвычайно быстрый ручей, нас остановили, и в авангарде послышались отрывчатые винтовочные выстрелы. Звуки эти, как и всегда, особенно возбудительно подействовали на всех. Отряд как бы проснулся: в рядах послышались говор, движение и смех. Солдаты кто боролся с товарищем, кто перепрыгивал с ноги на ногу, кто жевал сухарь или, для препровождения времени, *отбивал* на караул и к ноге. Притом туман заметно начинал белеть на востоке, сырость становилась ощутительнее, и окружающие предметы постепенно выходили из мрака. Я различал уже зеленые

лафеты и ящики, покрытую туманной сыростью медь орудий, знакомые, невольно изученные до малейших подробностей фигуры моих солдат, гнедых лошадей и ряды пехоты с их светлыми штыками, торбами, пыжовниками и котелками за спинами.

Скоро нас снова тронули и, проведя несколько сот шагов без дороги, указали место. Справа виднелись крутой берег извилистой речки и высокие деревянные столбы татарского кладбища; слева и спереди сквозь туман проглядывала черная полоса. Взвод снялся с передков. Восьмая рота, прикрывавшая нас, составила ружья в козлы, и батальон солдат с ружьями и топорами вошел в лес.

Не прошло пяти минут, как со всех сторон затрещали и задымились костры, рассыпались солдаты, раздувая огни руками и ногами, таская сучья и бревна, и в лесу неумолкаемо зазвучали сотни топоров и падающих деревьев.

Артиллеристы с некоторым соперничеством перед пехотными разложили свой костер, и хотя он уже так разгорелся, что на два шага подойти нельзя было, и густой черный дым проходил сквозь обледенелые ветви, с которых капли шипели на огне и которые нажимали на огонь солдаты, снизу образовывались угли, и помертвелая белая трава оттаивала кругом костра, солдатам все казалось мало: они тащили целые бревна, подсовывали бурьян и раздували все больше и больше.

Когда я подошел к костру, чтобы закурить папиросу, Ве-

ленчук, и всегда хлопотун, но теперь, как провинившийся, больше всех старавшийся около костра, в припадке усердия достал из самой середины голой рукой уголь, перебросил раза два из руки в руку и бросил на землю.

«Ты форостинку зажги да подай», – сказал другой, «Пальник, братцы, подайте», сказал третий. Когда я наконец без помощи Веленчука, который опять было руками хотел взять уголь, зажег папиросу, он потер обожженные пальцы о задние полы полушубка и, должно быть, чтоб что-нибудь делать, поднял большой чинаровый отрубок и с размаху бросил его на костер. Когда наконец ему показалось, что можно отдохнуть, он подошел к самому жару, распахнул шинель, надетую на нем в виде епанчи, на задней пуговице, расставил ноги, выставил вперед свои большие черные руки, и скривив немного рот, зажмурился.

– Эхма! трубку забыл. Вот горе-то, братцы мои! – сказал он, помолчав немного и не обращаясь ни к кому в особенности.

II

В России есть три преобладающие типа солдат, под которые подходят солдаты всех войск; кавказских, армейских, гвардейских, пехотных, кавалерийских, артиллерийских и т. д.

Главные эти типы, со многими подразделениями и соединениями, следующие:

1) Покорных.

2) Начальствующих и

3) Отчаянных.

Покорные подразделяются на a) покорных хладнокровных, b) покорных хлопотливых.

Начальствующие подразделяются на a) начальствующих суровых и b) начальствующих политичных.

Отчаянные подразделяются на a) отчаянных забавников и b) отчаянных развратных.

Чаще других встречающийся тип, – тип более всего милый, симпатичный и большей частью соединенный с лучшими христианскими добродетелями: кротостью, набожностью, терпением и преданностью воле божьей, – есть тип покорного вообще. Отличительная черта покорного хладнокровного есть ничем не сокрушимое спокойствие и презрение ко всем превратностям судьбы, могущим постигнуть его. Отличительная черта покорного пьющего есть тихая поэти-

ческая склонность и чувствительность; отличительная черта хлопотливого – ограниченность умственных способностей, соединенная с бесцельным трудолюбием и усердием.

Тип же начальствующих вообще встречается преимущественно в высшей солдатской сфере: ефрейторов, унтер-офицеров, фельдфебелей и т. д., и, по первому подразделению начальствующих суровых, есть тип весьма благородный, энергический, преимущественно военный, не исключающий высоких поэтических порывов (к этому-то типу принадлежал ефрейтор Антонов, с которым я намерен познакомить читателя). Второе подразделение составляют начальствующие политичные, с некоторого времени начинающие сильно распространяться. Начальствующий политичный бывает всегда красноречив, грамотен, ходит в розовой рубашке, не ест из общего котла, курит иногда Мусатов табак, считает себя несравненно выше простого солдата и редко сам бывает столь хорошим солдатом, как начальствующие первого разряда.

Тип отчаянного, точно так же, как и тип начальствующего, хорош в первом подразделении – отчаянных забавников, отличительными чертами которых суть непоколебимая веселость, огромные способности ко всему, богатство натуры и удаль, – и так же ужасно дурен во втором подразделении – отчаянных развратных, которые, однако, нужно сказать к чести русского войска, встречаются весьма редко, и если встречаются, то бывают удаляемы от товарищества самим обще-

ством солдатским. Неверие и какое-то удальство в пороке – главные черты характера этого разряда.

Веленчук принадлежал к разряду покорных хлопотливых. Он был малороссиянин родом, уже пятнадцать лет на службе и хотя невидный и не слишком ловкий солдат, но простодушный, добрый, чрезвычайно усердный, хотя большей частью некстати, и чрезвычайно честный. Я говорю: чрезвычайно честный, потому что в прошлом году был случай, в котором он показал весьма очевидно это характеристическое свойство. Надобно заметить, что почти каждый из солдат имеет мастерство. Более распространенные мастерства: портняжное и сапожное. Веленчук сам научился первому и даже, судя по тому, что сам Михаил Дорофеич, фельдфебель, давал ему шить на себя, дошел до известной степени совершенства. В прошлом году в лагере Веленчук взялся шить тонкую шинель Михаилу Дорофеичу; но в ту самую ночь когда он, скроив сукно и прикинув приклад, положил к себе в палатке под голову, с ним случилось несчастие: сукно, которое стоило *семь рублей,* в ночь пропало! Веленчук со слезами на глазах, с дрожащими бледными губами и сдержанными рыданиями объявил о том фельдфебелю. Михаил Дорофеич прогневался. В первую минуту досады он пригрозил портному, но потом, как человек с достатком и хороший, махнул рукой и не требовал с Веленчука возвращения ценности шинели. Как ни хлопотал хлопотливый Веленчук, как ни плакал, рассказывая про свое несчастие, вор не нашелся. Хотя

и были сильные подозрения на одного отчаянного развратного солдата, Чернова, спавшего с ним в одной палатке, но не было положительных доказательств. Начальствующий политичный Михаил Дорофеич, как человек с достатком, занимаясь кое-какими сделочками с каптенармусом и артельщиком, аристократами батареи, скоро совершенно забыл о пропаже партикулярной шинели; Веленчук же, напротив, не забыл своего несчастия. Солдаты говорили, что в это время они боялись за него, как бы он не наложил на себя рук или не бежал в горы: так сильно на него подействовало это несчастие. Он не пил, не ел, работать даже не мог и все плакал. Через три дня он явился к Михаилу Дорофеичу и, весь бледный, дрожащей рукой достал из-за обшлага золотой и подал ему. «Ей-богу, последние, Михаил Дорофеич, – и те у Жданова занял, – сказал он, снова всхлипывая, – а еще два рубля, ей-ей, отдам, как заработаю. Он (кто был *он,* не знал и сам Веленчук) меня перед вашими глазами плутом сделал. Он – ехидная его мерзкая душа – у своего брата-солдата последнее из души взял; а я, паятнадцать лет служа…» К чести Михаила Дорофеича должно сказать, что он не взял с Веленчука недостающих двух рублей, хотя Веленчук через два месяца и приносил их.

III

Кроме Веленчука, около костра грелись еще пять человек солдат моего взвода.

На лучшем месте, за ветром, на баклаге, сидел взводный фейерверкер Максимов и курил трубку. В позе, во взгляде и во всех движениях этого человека заметны были привычка повелевать и сознание собственного достоинства, не говоря уже о баклаге, на которой он сидел, составляющей на привале эмблему власти, и крытом нанкой полушубке.

Когда я подошел, он повернул голову ко мне; но глаза его оставались устремленными на огонь, и только гораздо после взгляд его, вслед за направлением головы, обратился на меня. Максимов был из однодворцев, имел деньги и в учебной бригаде получил класс и набрался учености. Он был ужасно богат и ужасно учен, как говорили солдаты. Я помню, как раз на практической навесной стрельбе с квадрантом он объяснял собравшимся вокруг него солдатам, что ватерпас *не что иное есть, как происходит, что атмосферическая ртуть свое движение имеет.* В сущности, Максимов был далеко не глуп и отлично знал свое дело; но у него была несчастная странность говорить иногда нарочно так, что не было никакой возможности понять его и что, я уверен, он сам не понимал своих слов. Особенно он любил слова «происходит» и «продолжать», и когда, бывало, скажет: «происходит» или

«продолжая», то уже я вперед знаю, что из всего последующего я не пойму ничего. Солдаты же, напротив, сколько я мог заметить, любили слушать его «происходит» и подозревали в нем глубокий смысл, хотя так же, как и я, не понимали ни слова. Но непонимание это они относили только к своей глупости и тем более уважали Федора Максимыча. Одним словом, Максимов был начальствующий политичный.

Второй солдат, переобувавший около огня свои жилистые красные ноги, был Антонов, – тот самый бомбардир Антонов, который еще в тридцать седьмом году, втроем оставшись при одном орудии, без прикрытия, отстреливался от сильного неприятеля и с двумя пулями в ляжке продолжал идти около орудия и заряжать его. «Давно бы уж ему быть фейерверкером, коли бы не карахтер его», – говорили про него солдаты. И действительно, странный у него был характер: в трезвом виде не было человека покойнее, смирнее и исправнее; когда же он запивал, становился совсем другим человеком: не признавал власти, дрался, буянил и делался никуда не годным солдатом. Не дальше как неделю тому назад он запил на масленице и, несмотря ни на какие угрозы, увещания и привязыванья к орудию, пьянствовал и буянил до самого чистого понедельника. Весь пост же, несмотря на приказ по отряду всем людям есть скоромное, питался он одними сухарями и на первой неделе не брал даже положенной крышки водки. Впрочем, надобно было видеть эту невысокую, сбитую, как железо, фигуру с короткими, выгну-

тыми ножками и глянцевитой усатой рожей, когда он, бывало, под хмельком возьмет в жилистые руки балалайку, и, небрежно поглядывая по сторонам, заиграет «барыню» или, с шинелью внакидку, на которой болтаются ордена, и заложив руки в карманы синих нанковых штанов, пройдется по улице, – надо было видеть выражение солдатской гордости и презрения ко всему несолдатскому, игравшее в это время на его физиономии, чтобы понять, каким образом не подраться в такие минуты с загрубившим или просто подвернувшимся денщиком, казаком, пехотным или переселенцем, вообще неартиллеристом, было для него совершенно невозможно. Он дрался и буянил не столько для собственного удовольствия, сколько для поддержания духа всего солдатства, которого он чувствовал себя представителем.

Третий солдат, с серьгой в ухе, щетинистыми усиками, птичьей рожицей и фарфоровой трубочкой в зубах, на корточках сидевший около костра, был ездовой Чикин. Милый человек Чикин, как его прозвали солдаты, был *забавник*. В трескучий ли мороз, по колено в грязи, два дня не евши, в походе, на смотру, на ученье, милый человек всегда и везде корчил гримасы, выделывал ногами коленцы и отливал такие штуки, что весь взвод покатывался со смеху. На привале или в лагере вокруг Чикина всегда собирался кружок молодых солдат, с которыми он или затевал «Фильку»[1], или рассказывал сказки про хитрого солдата и английского милор-

---

[1] Солдатская игра в карты. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

да, или представлял татарина, немца, или просто делал свои замечания, от которых все помирали со смеху. Правда, что репутация его как забавника была уж так утверждена в батарее, что стоило ему только открыть рот и подмигнуть, чтобы произвести общий хохот; но действительно в нем много было истинно комического и неожиданного. Он в каждой вещи умел видеть что-то особенное, такое, что другим и в голову не приходило, и главное – способность эта во всем видеть смешное не уступала никаким испытаниям.

Четвертый солдат был молодой, невзрачный мальчишка, рекрут прошлогоднего пригона, в первый еще раз бывший в походе. Он стоял в самом дыму и так близко от огня, что казалось, истертый полушубочек его сейчас загорится; но, несмотря на это, по его распахнутым полам, спокойной, самодовольной позе с выгнутыми икрами видно было, что он испытывал большое удовольствие.

И, наконец, пятый солдат, немного поодаль сидевший от костра и строгавший какую-то палочку, был дяденька Жданов. Жданов был старше всех солдат в батарее на службе, всех знал еще рекрутами, и все по старой привычке называли его дяденькой. Он, как говорили, никогда не пил, не курил, не играл в карты (даже в носки), не бранился дурным словом. Все свободное от службы время он занимался сапожным мастерством, по праздникам ходил в церковь, где было возможно, или ставил копеечную свечку перед образом и раскрывал псалтырь, единственную книгу, по которой он

умел читать. С солдатами он водился мало, – со старшим чином, хотя и младшими летами, он был холодно-почтителен, с равными, как непьющий, он имел мало случаев сходиться; но особенно он любил рекрутов и молодых солдат: их он всегда покровительствовал, читал им наставления и помогал часто. Все в батарее считали его капиталистом, потому что он имел рублей двадцать пять, которыми охотно ссужал солдата, который действительно нуждался. Тот самый Максимов, который теперь был фейерверкером, рассказывал мне, что, когда, десять лет тому назад, он рекрутом пришел и старые пьющие солдаты пропили с ним деньги, которые у него были, Жданов, заметив его несчастное положение, призвал к себе, строго выговорил ему за его поведение, побил даже, прочел наставление, как в солдатстве жить нужно, и отпустил, дав ему рубаху, которых уже не было у Максимова, и полтину денег. «Он из меня человека сделал», – говорил про него всегда с уважением и благодарностью сам Максимов. Он же помог Веленчуку, которого он вообще покровительствовал с самого рекрутства, во время несчастия пропажи шинели и многим, многим другим во время своей двадцатипятилетней службы.

По службе нельзя было желать лучше знающего дело, храбрее и исправнее солдата; но он был слишком смирен и невиден, чтобы быть произведенным в фейерверкеры, хотя уже был пятнадцать лет бомбардиром. Одна радость и даже страсть Жданова были песни; особенно некоторые он очень

любил и всегда собирал кружок песенников из молодых солдат и, хотя сам не умел петь, стоял с ними и, заложив руки в карманы полушубка и зажмурившись, движениями головы и скул выражал свое сочувствие. Не знаю почему, в этом равномерном движении скул под ушами, которое я замечал только у него одного, я почему-то находил чрезвычайно много выраженья. Белая как лунь голова, нафабренные черные усы и загорелое морщинистое лицо придавали ему на первый взгляд выражение строгое и суровое; но, вглядевшись ближе в его большие круглые глаза, особенно когда они улыбались (губами он никогда не смеялся), что-то необыкновенно кроткое, почти детское вдруг поражало вас.

IV

– Эх-ма! трубку забыл. Вот горе-то, братцы мои! – повторил Веленчук.

– А ты бы *сихарки* курил, милый человек! – заговорил Чикин, скривив рот и подмигивая. – Я так всё сихарки дома курю: она слаще!

Разумеется, все покатились со смеху.

– То-то, трубку забыл, – перебил Максимов, не обращая внимания на общий хохот и начальнически-гордо выбивая трубку о ладонь левой руки. – Ты где там пропадал? а, Веленчук?

Веленчук полуоборотился к нему, поднял было руку к шапке, но потом опустил ее.

– Видно, со вчерашнего не проспался, что уж стоя засыпаешь. За это вашему брату спасибо не говорят.

– Разорви меня на сем месте, Федор Максимыч, коли у меня капля во рту была; а я и сам не знаю, что со мной сделалось, – отвечал Веленчук. – С какой радости напился! – проворчал он.

– То-то; а из-за вашего брата ответствуешь перед начальством своим, а вы этак продолжаете – вовсе безобразно, – заключил красноречивый Максимов уже более спокойным тоном.

– Ведь вот чудо-то, братцы мои, – продолжал Веленчук

после минутного молчания, почесывая в затылке и не обращаясь ни к кому в особенности, – право, чудо, братцы мои! Шестнадцать лет служу – такого со мной не бывало. Как сказали к расчету строиться, я собрался как следует – ничего не было, да вдруг у парке как *она* схватит меня… схватила, схватила, повалила меня наземь, да и все… И как заснул, сам не слыхал, братцы мои! Должно, она самая спячка и есть, – заключил он.

– Ведь и то насилу я тебя разбудил, – сказал Антонов, натягивая сапог, – уж я тебя толкал, толкал… ровно чурбан какой!

– Вишь ты, – заметил Веленчук, – добро уж пьяный бы был…

– Так-то у нас дома баба была, – начал Чикин, – так с печи, почитай, два года не сходила. Стали ее будить раз, думали, что спит, а уж она мертвая лежит, – так тоже все на нее сон находил. Так-то, милый человек!

– А расскажи-ка, Чикин, как ты в отпуску тон задавал себе, – сказал Максимов, улыбаясь и поглядывая на меня, как будто говоря: «Не угодно ли тоже послушать глупого человека?»

– Какой тон, Федор Максимыч! – сказал Чикин, бросая искоса на меня беглый взгляд, – известно, рассказывал, какой такой Капказ есть.

– Ну да, как же, как же! Ты не модничай… расскажи, как ты им *предводительствовал?*

– Известно, как предводительствовал: спрашивали, как мы живем, – начал Чикин скороговоркой, с видом человека, несколько раз рассказывавшего то же самое, – я говорю, живем хорошо, милый человек: провиянт сполна получаем, утро и вечер по чашке *щиколата* идет на *солдата,* а в обед идет господский *суп* из перловых *круп,* а замест водки *модера* полагается по крышке. Модера Дивирье, что без посуды, мол, сорок две!

– Важная модера! – громче других, заливаясь смехом, подхватил Веленчук, – вот так модера!

– Ну, а про эзиятов как рассказывал? – продолжал допрашивать Максимов, когда общий смех утих несколько.

Чикин нагнулся к огню, достал палочкой уголек, наложил его на трубку, и молча, как будто не замечая возбужденного в слушателях молчаливого любопытства, долго раскуривал свои корешки. Когда наконец он набрался достаточно дыму, сбросил уголек, сдвинул еще более назад свою шапочку и, подергиваясь и слегка улыбаясь, продолжал:

– Тоже спрашивают, какой, говорит, там малый, черкес, говорит, или турка у вас на Капказе, говорит, бьет? Я говорю: у нас черкес, милый человек, не один, а разные есть. Есть такие тавлинцы, что в каменных горах живут и камни замест хлеба едят. Те большие, говорю, ровно как колода добрая, по одном глазу во лбу, и шапки на них красные, вот так и горят, ровно как на тебе, милый человек! – прибавил он, обращаясь к молодому рекрутику, на котором действительно была

уморительная шапочка с красным верхом.

Рекрутик при этом неожиданном обращении вдруг присел к земле, ударил себя по коленям и расхохотался и раскашлялся до того, что едва мог выговорить задыхающимся голосом: «Вот так тавлинцы!»

– А то еще, говорю, мумры есть, – продолжал Чикин, движением головы надвигая на лоб свою шапочку, – те другие – двойнешки маленькие, вот такие. Всё по парочкам, говорю, рука с рукой держатся и так-то бегают, говорю, швытко, что ты его на коне не догонишь. «Как же, говорит, малый, как же они, мумры-то, рука с рукой так и родятся, что ли? – воображая передразнивать мужика, сказал он горловым басом. – „Да, говорю, милый человек, он такой от природии. Ты им руки разорви, так кровь пойдет, все равно что китаец: шапку с него сними, она, кровь, пойдет“. – „А кажи, малый, как они бьют-то?“ – говорит. „Да так, говорю, поймают тебя, живот распорят, да кишки тебе на руку и мотают и мотают. Они мотают, а ты смеешься; дотелева смеешься, что дух вон…“

– Ну, что ж, и имели к тебе доверие, Чикин? – сказал Максимов, слегка улыбаясь, тогда как остальные помирали со смеху.

– И такой, право, народ чудной, Федор Максимыч: верют всему, ей-богу, верют. А стал им про гору *Кизбек* сказывать, что на ней все лето снег не тает, так вовсе на смех подняли, милый человек! «Что ты, говорит, малый, фастаешь? Видано ли дело: большая гора, да на ней снег не будет таять. У

нас, малый, в ростопель так какой бугор, и то прежде растает, а в лощине снег лежит». Поди ты! – заключил Чикин, подмигивая.

V

Светлый круг солнца, просвечивающий сквозь молочно-белый туман, уже поднялся довольно высоко; серо-лиловый горизонт постепенно расширялся и хотя гораздо дальше, но также резко ограничивался обманчивою белою стеною тумана.

Впереди нас, за срубленным лесом, открылась довольно большая поляна. По поляне со всех сторон расстилался где черный, где молочно-белый, где лиловый дым костров, и странными фигурами носились белые слои тумана. Далеко впереди изредка показывались группы верховых татар, и слышались нечастые выстрелы наших штуцеров, их винтовок и орудия.

«Это еще было не дело, а одна потеха-с», – как говорил добрый капитан Хлопов.

Командир девятой егерской роты, бывший у нас в прикрытии, подошел к моим орудиям и, указывая па трех верховых татар, ехавших в это время под лесом, на расстоянии от нас более шестисот сажен, просил, по свойственной всем вообще пехотным офицерам любви к артиллерийской стрельбе, просил меня пустить по ним ядро или гранату.

– Видите, – говорил он, с доброй и убедительной улыбкой протягивая руку из-за моего плеча, – где два большие дерева, так впереди один на белой лошади и в черной черкеске, а вон

сзади еще два. Видите. Нельзя ли их, пожалуйста…

– А вон еще трое едут, по-под лесом, – прибавил Антонов, отличавшийся удивительным глазом, подходя к нам и пряча за спину трубку, которую курил в это время, – еще передний винтовку из чехла вынул. Знатко видать, вашбородие!

– Вишь, выпалил, братцы мои! вон дымок забелелся, – сказал Веленчук в группе солдат, стоявших немного сзади нас.

– Должно, в нашу цепь, прохвост! – заметил другой.

– Вишь, их из-за лесу-то сколько высыпало, должно, место глядят – орудию поставить хотят, – добавил третий. – Гхранату кабы им туда в кучку пустить, то-то бы заплевали…

– А как думаешь, как раз дотолева фатит, милый человек? – спросил Чикин.

– Пятьсот либо пятьсот двадцать сажен, больше не будет, – как будто говоря сам с собой, хладнокровно сказал Максимов, хотя видно было, что ему, так же как и другим, ужасно хотелось выпалить, – коли сорок пять линий из единорога дать, то в самый пункт попасть можно, то есть совершенно.

– Знаете, теперь коли в эту кучку направить, непременно в кого-нибудь попадете. Вот-вот теперь, как они съехались, пожалуйста, поскорей велите выстрелить, – продолжал упрашивать меня ротный командир.

– Прикажете навести орудие? – отрывистым басом вдруг спросил Антонов с видом какой-то угрюмой злобы.

Признаюсь, мне и самому этого очень хотелось, и я велел навести второе орудие.

Едва я успел сказать, как граната была распудрена, дослана, и Антонов, прильнув к станине и приставив к затыльнику свои два толстых пальца, уже командовал хобот вправо и влево.

– Чуть-чуть влево… самую малость вправо… еще, еще трошки… так ладно, – сказал он, с гордым видом отходя от орудия.

Пехотный офицер, я, Максимов, один за другим приложились к прицелу и все подали своп разнообразные мнения.

– Ей-богу, перенесет, – заметил Веленчук, пощелкивая языком, несмотря на то, что он только смотрел чрез плечо Антонова и поэтому не имел никакого основания предполагать это. – Е-е-ей-богу, перенесет, прямо в ту дереву попанет, братцы мои!

– Второе! – скомандовал я.

Прислуга расступилась. Антонов отбежал в сторону, чтобы видеть полет снаряда, трубка вспыхнула, и зазвенела медь. В то же мгновение нас обдало пороховым дымом, и из поразительного гула выстрела отделился металлический, жужжащий, с быстротою молнии удалявшийся звук полета, посреди всеобщего молчания замерший в отдалении.

Немного позади группы верховых показался белый дымок, татары расскакались в разные стороны, и до нас долетел звук разрыва.

«Вот важно-то! Эк поскакали! Вишь, черти, не любят!» – послышались одобрения и смешки в рядах артиллерийских и пехотных солдат.

– Коли бы трошки ниже пустить, в самую его бы попало, – заметил Веленчук, – говорил, в дереву попанет: оно и есть – взяло вправо.

VI

Оставив солдат рассуждать о том, как татары ускакали, когда увидели гранату, и зачем они тут ездили, и много ли их еще в лесу есть, я отошел с ротным командиром за несколько шагов и сел под деревом, ожидая разогревавшихся битков, которые он предложил мне. Ротный командир Болхов был один из офицеров, называемых в полку *бонжурами.* Он имел состояние, служил прежде в гвардии и говорил по-французски. Но, несмотря на это, товарищи любили его. Он был довольно умен и имел достаточно такта, чтобы носить петербургский сюртук, есть хороший обед и говорить по-французски, не слишком оскорбляя общество офицеров. Поговорив о погоде, о военных действиях, об общих знакомых офицерах и убедившись по вопросам и ответам, по взгляду на вещи в удовлетворительности понятий один другого, мы невольно перешли к разговору более короткому. Притом же на Кавказе между встречающимися одного круга людьми хотя невысказанно, но весьма очевидно проявляется вопрос: зачем вы здесь? – и на этот-то мой молчаливый вопрос, мне казалось, собеседник мой хотел ответить.

– Когда этот отряд кончится? – сказал он лениво, – скучно!

– Мне не скучно, – сказал я, – ведь в штабе еще скучнее.

– О, в штабе в десять тысяч раз хуже, – сказал он со зло-

стью. – Нет! когда все это совсем кончится?

– Что же вы хотите, чтоб кончилось? – спросил я.

– Все, совсем!.. Что же, готовы битки, Николаев? – спросил он.

– Для чего же вы пошли служить на Кавказ, – сказал я, – коли Кавказ вам так не нравится?

– Знаете, для чего, – отвечал он с решительной откровенностью, – по преданию. В России ведь существует престранное предание про Кавказ: будто это какая-то обетованная земля для всякого рода несчастных людей.

– Да, это почти правда, – сказал я, – бóльшая часть, из нас…

– Но что лучше всего, – перебил он меня, – что все мы, по преданию едущие на Кавказ, ужасно ошибаемся в своих расчетах, и решительно я не вижу, почему вследствие несчастной любви или расстройства дел скорее ехать служить на Кавказ, чем в Казань или в Калугу. Ведь в России воображают Кавказ как-то величественно, с вечными девственными льдами, бурными потоками, с кинжалами, бурками, черкешенками, – все это страшное что-то, а, в сущности, ничего в этом нету веселого. Ежели бы они знали, по крайней мере, что в девственных льдах мы никогда не бываем, да и быть-то в них ничего веселого нет, а что Кавказ разделяется на губернии: Ставропольскую, Тифлисскую и т. д. …

– Да, – сказал я, смеясь, – мы в России совсем иначе смотрим на Кавказ, чем здесь. Это испытывали ли вы когда-ни-

будь? Как читать стихи на языке, который плохо знаешь: воображаешь себе гораздо лучше чем есть?..

– Не знаю, право, но ужасно не нравится мне этот Кавказ, – перебил он меня.

– Нет, Кавказ для меня и теперь хорош, но только иначе…

– Может быть, и хорош, – продолжал он с какою-то раздражительностью, – знаю только то, что я не хорош на Кавказе.

– Отчего же так? – сказал я, чтоб сказать что-нибудь.

– Оттого, что, во-первых, *он* обманул меня. Все то, от чего я, по преданию, поехал лечиться на Кавказ, все приехало со мною сюда, только с той разницей, что прежде все это было на большой лестнице, а теперь на маленькой, на грязненькой, на каждой ступеньке которой я нахожу миллионы маленьких тревог, гадостей, оскорблений; во-вторых, оттого, что я чувствую, как я с каждым днем морально падаю ниже и ниже, и главное – то, что чувствую себя неспособным к здешней службе: я не могу переносить опасности… просто, я не храбр… – Он остановился и посмотрел на меня. – Без шуток.

Хотя это непрошеное признание чрезвычайно удивило меня, я не противоречил, как, видимо, хотелось того моему собеседнику, но ожидал от него самого опровержения своих слов, как это всегда бывает в подобных случаях.

– Знаете, я в нынешний отряд в первый раз в деле, – продолжал он, – и вы не можете себе представить, что со мной

вчера было. Когда фельфебель принес приказание, что моя рота назначена в колонну, я побледнел как полотно и не мог говорить от волнения. А как я провел ночь, ежели бы вы знали! Если правда, что седеют от страха, то я бы должен быть совершенно белый нынче, потому что, верно, ни один приговоренный к смерти не прострадал в одну ночь столько, как я; даже и теперь, хотя мне и легче немного, чем ночью, но у меня здесь вот что идет, – прибавил он, вертя кулак перед своей грудью. – И что смешно, – продолжал он, – что здесь ужаснейшая драма разыгрывается, а сам ешь битки с луком и уверяешь, что очень весело. Вино есть, Николаев? – прибавил он, зевая.

– Это *он,* братцы мои! – послышался в это время встревоженный голос одного из солдат, – и все глаза обратились на опушку дальнего леса.

Вдали увеличивалось и, уносясь по ветру, поднималось голубоватое облако дыма. Когда я понял, что это был против нас выстрел неприятеля, все, что было на моих глазах в эту минуту, все вдруг приняло какой-то новый величественный характер. И козлы ружей, и дым костров, и голубое небо, и зеленые лафеты, и загорелое усатое лицо Николаева – все это как будто говорило мне, что ядро, которое вылетело уже из дула и летит в это мгновение в пространстве, может быть, направлено прямо в мою грудь.

– Вы где брали вино? – лениво спросил я Болхова, между тем как в глубине души моей одинаково внятно говорили

два голоса: один – господи, приими дух мой с миром, другой – надеюсь не нагнуться, а улыбаться в то время, как будет пролетать ядро, – и в то же мгновение над головой просвистело что-то ужасно неприятно, и в двух шагах от нас шлепнулось ядро.

– Вот если бы я был Наполеон или Фридрих, – сказал в это время Болхов, совершенно хладнокровно поворачиваясь ко мне, – я бы непременно сказал какую-нибудь любезность.

– Да вы и теперь сказали, – отвечал я, с трудом скрывая тревогу, произведенную во мне прошедшей опасностью.

– Да что ж, что сказал: никто не запишет.

– А я запишу.

– Да вы ежели и запишете, так в критику, как говорит Мищенков, – прибавил он, улыбаясь.

– Тьфу ты, проклятый! – сказал в это время сзади нас Антонов, с досадой плюя в сторону, – трошки по ногам не задела.

Все мое старанье казаться хладнокровным и все наши хитрые фразы показались мне вдруг невыносимо глупыми после этого простодушного восклицания.

VII

Неприятель действительно поставил два орудия на том месте, где разъезжали татары, и каждые минут двадцать или тридцать посылал по выстрелу в наших рубщиков. Мой взвод выдвинули вперед на поляну и приказали отвечать ему. В опушке леса показался дымок, слышались выстрел, свист, и ядро падало сзади или впереди нас. Снаряды неприятеля ложились счастливо, и потери не было.

Артиллеристы, как и всегда, вели себя превосходно, проворно заряжали, старательно наводили по показавшемуся дыму и спокойно шутили между собой. Пехотное прикрытие в молчаливом бездействии лежало около нас, дожидая своей очереди. Рубщики леса делали свое дело: топоры звучали по лесу быстрее и чаще; только в то время, как слышался свист снаряда, все вдруг замолкало, средь мертвой тишины раздавались не совсем спокойные голоса: «Сторонись, ребята!» – и все глаза устремлялись на ядро, рикошетировавшее по кострам и срубленным сучьям.

Туман уже совершенно поднялся и, принимая формы облаков, постепенно исчезал в темно-голубой синеве неба; открывшееся солнце ярко светило и бросало веселые отблески на сталь штыков, медь орудий, оттаивающую землю и блестки инея. В воздухе слышалась свежесть утреннего мороза вместе с теплом весеннего солнца; тысячи различных теней

и цветов мешались в сухих листьях леса, и на торной глянцевитой дороге отчетливо виднелись следы шин и подковных шипов.

Между войсками движение становилось сильнее и заметнее. Со всех сторон показывались чаще и чаще голубоватые дымки выстрелов. Драгуны, с развевающимися флюгерами пик, выехали вперед; в пехотных ротах послышались песни, и обоз с дровами стал строиться в арьергард. К нашему взводу подъехал генерал и приказал готовиться к отступлению. Неприятель засел в кусты против нашего левого фланга и стал сильно беспокоить нас ружейным огнем. С левой стороны из лесу прожужжала пуля и ударила в лафет, потом другая, третья… Пехотное прикрытие, лежавшее около нас, шумно поднялось, взяло ружья и заняло цепь. Ружейные выстрелы усиливались, и пули стали летать чаще и чаще. Началось отступление и следовательно, настоящее дело, как это всегда бывает на Кавказе.

Но всему видно было, что артиллеристам не нравились пули, как прежде ядра – пехотным. Антонов принахмурился. Чикин передразнивал пули и подшучивал над ними; но видно было, что они ему не нравились. Про одну говорил он: «как торопится», другую называл «пчелкой», третью, которая, как-то медленно и жалобно визжа, пролетела над нами, назвал «сиротой», чем произвел общий хохот.

Рекрутик с непривычки при каждой пуле сгибал набок голову и вытягивал шею, что тоже заставляло смеяться солда-

тиков. «Что, знакомая, что ли, что кланяешься?» – говорили ему. И Веленчук, всегда чрезвычайно равнодушный к опасности, теперь был в тревожном состоянии: его, видимо, сердило то, что мы не стреляем картечью по тому направленью, откуда летали пули. Он несколько раз недовольным голосом повторил: «Что ж *он* нас даром-то бьет? Кабы туда орудию поворотить да картечью бы дунуть, так затих бы небось».

Действительно, пора было это сделать: я приказал выпустить последнюю гранату и зарядить картечью.

– Картечь! – крикнул Антонов, лихо в самом дыму подходя с банником к орудию, только что заряд был выпущен.

В это время недалеко сзади себя я услыхал вдруг превратившийся сухим ударом во что-то быстрый жужжащий звук пули. Сердце сжалось во мне. «Кажется, кого-то из наших задело», – подумал я, по умеете с тем боясь оглянуться под влиянием тяжелого предчувствия. Действительно, вслед за этим звуком послышалось тяжелое падение тела и «о-о-о-ой» – раздирающий стон раненого. «Задело, братцы мои!» – проговорил с трудом голос, который я узнал. Это был Веленчук. Он лежал навзничь между передком и орудием. Сума, которую он нес, была отброшена в сторону. Лоб его был весь в крови, и по правому глазу и носу текла густая красная струя. Рана его была в животе, но в ней почти не было крови; лоб же он разбил о пень во время падения.

Все это я разобрал гораздо после; в первую же минуту я видел только какую-то неясную массу и ужасно много, как

мне казалось, крови.

Никто из солдат, заряжавших орудие, не сказал слова, – только рекрутик пробормотал что-то, вроде: «Вишь ты как, в кровь», – и Антонов, нахмурившись, крякнул сердито; но по всему заметно было, что мысль о смерти пробежала в душе каждого. Все с большей деятельностью принялись за дело. Орудие было заряжено в одно мгновение, и вожатый, принося картечь, шага на два обошел то место, на котором, продолжая стонать, лежал раненый.

VIII

Каждый бывший в деле, верно, испытывал то странное, хотя и не логическое, но сильное чувство отвращения от того места, на котором был убит или ранен кто-нибудь. Этому чувству заметно поддались в первую минуту мои солдаты, когда нужно было поднять Веленчука и перенести его на подъехавшую повозку. Жданов сердито подошел к раненому, несмотря на усилившийся крик его, взял под мышки и поднял его. «Что стали! берись!» – крикнул он, и тотчас же раненого окружили человек десять, даже ненужных, помощников. Но едва сдвинули его с места, как Веленчук начал кричать ужасно и рваться.

– Что кричишь, как заяц! – сказал Антонов грубо, удерживая его за ногу, – а не то бросим.

И раненый затих действительно, только изредка приговаривая: «Ох, смерть моя! о-ох, братцы мои!»

Когда же его положили на повозку, он даже перестал охать, и я слышал, что он что-то говорил с товарищами – должно быть, прощался – тихим, но внятным голосом.

В деле никто не любит смотреть на раненого, и я, инстинктивно торопясь удалиться от этого зрелища, приказал скорей везти его на перевязочный пункт и отошел к орудиям; но через несколько минут мне сказали, что Веленчук зовет меня, и я подошел к повозке.

На дне ее, ухватясь обеими руками за края, лежал раненый. Здоровое, широкое лицо его в несколько секунд совершенно изменилось: он как будто похудел и постарел несколькими годами, губа его были тонки, бледны и сжаты с видимым напряжением; торопливое и тупое выражение его взгляда заменил какой-то ясный, спокойный блеск, и на окровавленных лбу и носу уже лежали черты смерти.

Несмотря на то, что малейшее движение причиняло ему нестерпимые страдания, он просил снять с левой ноги чересок[2] с деньгами.

Ужасно тяжелое чувство произвел во мне вид его голой, белой и здоровой ноги, когда с нее сняли сапог и развязывали черес.

– Тут три монеты и полтинник, – сказал он мне в то время, как я брал в руки черес, – уж вы их сберегёте.

Повозка было тронулась, но он остановил ее.

– Я поручику Сулимовскому шинель работал. О-они мне две монеты дали. На полторы я пуговиц купил, а полтина у меня в мешке с пуговицами лежит. Отдайте.

– Хорошо, хорошо, – сказал я, – выздоравливай, братец!

Он не отвечал мне, повозка тронулась, и он снова начал стонать и охать самым ужасным, раздирающим душу голосом. Как будто, окончив мирские дела, он не находил больше причин удерживаться и считал теперь позволительным себе

---

[2] Черес – кошелек в виде пояска, который солдаты носят обыкновенно под коленом. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

это облегчение.

IX

– Ты куда? Вернись! Куда ты идешь? – закричал я рекрутику, который, положив под мышку свой запасный пальник, с какой-то палочкой в руках прехладнокровно отправлялся за повозкой, повезшей раненого.

Но рекрутик только лениво оглянулся на меня, пробормотал что-то и пошел дальше, так что я должен был послать солдат, чтобы привести его. Он снял свою красную шапочку и, глупо улыбаясь, глядел на меня.

– Куда ты шел? – спросил я.

– В лагерь.

– Зачем?

– А как же – Веленчука-то ранили, – сказал он, опять улыбаясь.

– Так тебе-то что? ты должен здесь оставаться. Он с удивлением посмотрел на меня, потом хладнокровно повернулся, надел шапку и пошел к своему месту.

Дело вообще было счастливо: казаки, слышно было, сделали славную атаку и взяли три татарских тела; пехота запаслась дровами и потеряла всего человек шесть ранеными; в артиллерии выбыли из строя всего один Веленчук и две лошади. Зато вырубили леса версты на три и очистили место так, что его узнать нельзя было: вместо прежде видневшейся сплошной опушки леса открывалась огромная поляна, по-

крытая дымящимися кострами и двигавшимися к лагерю кавалерией и пехотой. Несмотря на то, что неприятель не переставал преследовать нас артиллерийским и ружейным огнем до самой речки с кладбищем, которую мы переходили утром, отступление сделано было счастливо. Уже я начинал мечтать о щах и бараньем боке с кашей, ожидавших меня в лагере, когда пришло известие, что генерал приказал построить на речке редут и оставить в нем до завтра третий батальон К. полка и взвод четырехбатарейной. Повозки с дровами и ранеными, казаки, артиллерия, пехота с ружьями и дровами на плечах – все с шумом и песнями прошли мимо нас. На всех лицах видны были одушевление и удовольствие, внушенные минувшей опасностью и надеждой на отдых. Только мы с третьим батальоном должны были ожидать этих приятных чувств еще до завтра.

X

Покуда мы, артиллеристы, хлопотали около орудий: расставляли передки, ящики, разбивали коновязь, пехота уже составила ружья, разложила костры, построила из сучьев и кукурузной соломы балаганчики и варила кашицу.

Начинало смеркаться. По небу ползли сине-беловатые тучи. Туман, превратившийся в мелкую сырую мглу, мочил землю и солдатские шинели; горизонт суживался, и вся окрестность принимала мрачные тени. Сырость, которую я чувствовал сквозь сапоги, за шеей, неумолкаемое движение и говор, в которых я не принимал участия, липкая грязь, по которой раскатывались мои ноги, и пустой желудок наводили на меня самое тяжелое, неприятное расположение духа после дня физической и моральной усталости. Веленчук не выходил у меня из головы. Вся простая история его солдатской жизни неотвязчиво представлялась моему воображению.

Последние минуты его были так же ясны и спокойны, как и вся жизнь его. Он слишком жил честно и просто, чтобы простодушная вера его в ту будущую, небесную жизнь могла поколебаться в решительную минуту.

– Ваше здоровье, – сказал мне подошедший Николаев, – пожалуйте к капитану, просят чай кушать.

Кое-как пробираясь между козлами и кострами, я вслед

за Николаевым пошел к Болхову, с удовольствием мечтая о стакане горячего чая и веселой беседе, которая бы разогнала мои мрачные мысли. «Что, нашел?» – послышался голос Болхова из кукурузного шалаша, в котором светился огонек.

– Привел, ваше благородие! – басом отвечал Николаев.

В балагане на сухой бурке сидел Болхов, расстегнувшись и без папахи. Подле него кипел самовар, стоял барабан с закуской. В землю был воткнут штык со свечкой. «Каково?» – с гордостью сказал он, оглядывая свое уютное хозяйство. Действительно, в балагане было так хорошо, что за чаем я совсем забыл про сырость, темноту и рапу Веленчука. Мы разговорились про Москву, про предметы, не имеющие никакого отношения с войной и Кавказом.

После одной из тех минут молчания, которые прерывают иногда самые оживленные разговоры, Болхов с улыбкой посмотрел на меня.

– А я думаю, вам очень странным показалось наш разговор утром? – сказал он.

– Нет. Отчего же? Мне только показалось, что вы слишком откровенны, а есть вещи, которые мы все знаем, по которых никогда говорить не надо.

– Отчего? Нет! Ежели бы была какая-нибудь возможность променять эту жизнь хоть на жизнь самую пошлую и бедную, только без опасностей и службы, я бы ни минуты не задумался.

– Отчего же вы не перейдете в Россию? – сказал я.

– Отчего? – повторил он. – О! я давно уже об этом думал. Я не могу теперь вернуться в Россию до тех пор, пока не получу Анны и Владимира, Анны на шею и майора, как и предполагал, ехавши сюда.

– Отчего же, ежели вы чувствуете себя неспособным, как вы говорите, к здешней службе?

– Но когда я еще более чувствую себя неспособным к тому, чтобы вернуться в Россию тем, чем я поехал. Это тоже одно из преданий, существующих в России, которое утвердили Пассек, Слепцов и другие, что на Кавказ стоит приехать, чтобы осыпаться наградами. И от нас все ожидают и требуют этого; а я вот два года здесь, в двух экспедициях был и ничего не получил. Но все-таки у меня столько самолюбия, что я не уеду отсюда ни за что до тех пор, пока не буду майором с Владимиром и Анной на шее. Я уж втянулся до того, что меня всего коробит, когда Гнилокишкину дадут награду, а мне нет. И потом, как я покажусь на глаза в России своему старосте, купцу Котельникову, которому я хлеб продаю, тетушке московской и всем этим господам после двух лет на Кавказе без всякой награды? Правда, что я этих господ знать не хочу и, верно, они тоже очень мало обо мне заботятся; но уж так устроен человек, что я их знать не хочу, а из-за них гублю лучшие года, все счастие жизни, всю будущность свою погублю.

XI

В это время послышался снаружи голос батальонного командира: «С кем это вы, Николай Федорыч?»

Болхов назвал меня, и вслед за тем в балаган влезли три офицера: майор Кирсанов, адъютант его батальона и ротный командир Тросенко.

Кирсанов был невысокий, полный мужчина, с черными усиками, румяными щеками и маслеными глазками. Глазки эти были самой замечательной чертой в его физиономии. Когда он смеялся, то от них оставались только две влажные звездочки, и звездочки эти вместе с натянутыми губами и вытянутой шеей принимали иногда престранное выражение бессмысленности. Кирсанов в полку вел и держал себя лучше всякого другого: подчиненные не бранили, а начальники уважали его, хотя общее мнение о нем было, что он очень недалек. Он знал службу, был исправен и усерден, всегда был при деньгах, имел коляску и повара и весьма натурально умел притворяться гордым.

– О чем это толкуете, Николай Федорыч? – сказал он, входя.

– Да вот о приятностях здешней службы.

Но в это время Кирсанов заметил меня, юнкера, и потому, чтобы дать почувствовать мне свое значение, как будто не слушая ответа Болхова и глядя на барабан, спросил:

– Что, устали, Николай Федорыч?

– Нет, ведь мы… – начал было Болхов. Но опять, должно быть, достоинство батальонного командира требовало перебить и сделать новый вопрос:

– А ведь славное дело было нынче?

Батальонный адъютант был молодой прапорщик, недавно произведенный из юнкеров, скромный и тихий мальчик, со стыдливым и добродушно-приятным лицом. Я видал его прежде у Болхова. Молодой человек часто приходил к нему, раскланивался, садился в уголок и по нескольку часов молчал, делал папиросы, курил их, потом вставал, раскланивался и уходил. Это был тип бедного русского дворянского сына, выбравшего военную карьеру, как одну возможную при своем образовании, и ставящего выше всего в мире свое офицерское звание, – тип простодушный и милый, несмотря на смешные неотъемлемые принадлежности: кисет, халат, гитару и щеточку для усов, с которыми мы привыкли воображать его. В полку рассказывали про него, будто он хвастался тем, что он с своим денщиком справедлив, но строг, будто он говорил: «Я редко наказываю, но уж когда меня доведут до этого, то беда», и что, когда пьяный денщик обокрал его совсем и стал даже ругать своего барина, будто он привел его на гауптвахту, велел приготовить все для наказания, но при виде приготовлений до того смутился, что мог только говорить: «Ну, вот видишь… ведь я могу…» – и, совершенно растерявшись, убежал домой и с той поры боялся смотреть в

глаза своему Чернову. Товарищи не давали ему покоя, дразнили его этим, и я несколько раз слышал, как простодушный мальчик отговаривался и, краснея до ушей, уверял, что это неправда, а совсем напротив.

Третье лицо, капитан Тросенко, был старый кавказец в полном значении этого слова, то есть человек, для которого рота, которою он командовал, сделалась семейством, крепость, где был штаб, – родиной, а песенники – единственными удовольствиями жизни, – человек, для которого все, что не было Кавказ, было достойно презрения, да и почти недостойно вероятия; все же, что было Кавказ, разделялось на две половины: нашу и не нашу; первую он любил, вторую ненавидел всеми силами своей души, и главное – он был человек закаленной, спокойной храбрости, редкой доброты в отношении к своим товарищам и подчиненным и отчаянной прямоты и даже дерзости в отношении к ненавистным для него почему-то адъютантам и бонжурам. Входя в балаган, он чуть не пробил головой крыши, потом вдруг опустился и сел на землю.

– Ну, что? – сказал он и, вдруг заметив мое незнакомое для него лицо, остановился, вперил в меня мутный, пристальный взгляд.

– Так о чем это вы беседовали? – спросил майор, вынимая часы и глядя на них, хотя, я твердо уверен, ему совсем не нужно было делать этого.

– Да вот спрашивал меня, зачем я служу здесь.

– Разумеется, Николай Федорыч хочет здесь отличиться и потом – восвояси.

– Ну, а вы скажите, Абрам Ильич, зачем вы служите на Кавказе?

– Я потому, знаете, что, во-первых, мы все обязаны по своему долгу служить. Что? – прибавил он, хотя все молчали. – Вчера я получил письмо из России, Николай Федорыч, – продолжал он, видимо желая переменить разговор, – мне пишут, что… такие вопросы странные делают.

– Какие же вопросы? – спросил Болхов. Он засмеялся.

– Право, странные вопросы… мне пишут, что может ли быть ревность без любви… Что? – спросил он, оглядываясь на всех нас.

– Вот как! – сказал, улыбаясь, Болхов.

– Да, знаете, в России хорошо, – продолжал он, как будто фразы его весьма натурально вытекали одна из другой. – Когда я в пятьдесят втором году был в Тамбове, то меня принимали везде как флигель-адъютанта какого-нибудь. Поверите ли, на балу у губернатора, как я вошел, так знаете… очень хорошо принимали. Сама губернаторша, знаете, со мной разговаривала и спрашивала про Кавказ, и все так… что я не знал… Мою золотую шашку смотрят, как редкость какую-нибудь, спрашивают: за что шашку получил, за что Анну, за что Владимира, и я им так рассказывал… Что? Вот этим-то Кавказ хорош, Николай Федорыч! – продолжал он, не дожидаясь ответа, – там смотрят на нашего брата, кавказ-

ца, очень хорошо. Молодой человек, знаете, штаб-офицер с Анной и Владимиром – это много значит в России… Что?

– Вы и прихвастнули-таки, я думаю, Абрам Ильич? – сказал Болхов.

– Хи-хи! – засмеялся он своим глупым смехом. – Знаете, это нужно. Да и поел я славно эти два месяца!

– А что, хорошо там, в России-то? – сказал Тросенко, спрашивая про Россию, как про какой-то Китай или Японию.

– Да-с, уж что мы там шампанского выпили в два месяца, так это страх!

– Да что вы! Вы, верно, лимонад пили. Вот я так уж бы треснул там, что знали бы, как кавказцы пьют. Недаром бы слава прошла. Я бы показал, как пьют… А, Болхов? – прибавил он.

– Да ведь ты, дядя, уж за десять лет на Кавказе, – сказал Болхов, – а помнишь, что Ермолов сказал; а Абрам Ильич только шесть…

– Какой десять! скоро шестнадцать.

– Вели же, Болхов, *шолфею* дать. Сыро, бррр!.. А? – прибавил он, улыбаясь, – выпьем, майор!

Но майор был недоволен и первым обращением к нему старого капитана, теперь же, видимо, съежился и искал убежища в собственном величии. Он запел что-то и снова посмотрел на часы.

– Вот я так уж никогда туда не поеду, – продолжал Тросенко, не обращая внимания на насупившегося майора, – я и

ходить и говорить-то по-русскому отвык. Скажут: что за чудо такая приехало? Сказано, Азия. Так, Николай Федорыч?.. Да u что мне в России! Все равно тут когда-нибудь подстрелят. Спросят: где Тросенко? – подстрелили. Что вы тогда с восьмой ротой сделаете… а? – прибавил он, обращаясь постоянно к майору.

– Послать дежурного по батальону! – крикнул Кирсанов, не отвечая капитану, хотя, я опять уверен был, ему не нужно было отдавать никаких приказаний.

– А вы, я думаю, теперь рады, молодой человек, что на двойном окладе? – сказал майор после нескольких минут молчания батальонному адъютанту.

– Как же-с, очень-с.

– Я нахожу, что наше жалованье теперь очень большое, Николай Федорович, – продолжал он, – молодому человеку можно жить весьма прилично и даже позволить себе роскошь маленькую.

– Нет, право, Абрам Ильич, – робко сказал адъютант, – хоть оно и двойное, а только что так… ведь лошадь надо иметь…

– Что вы мне говорите, молодой человек! я сам прапорщиком был и знаю. Поверьте, с порядком жить очень можно. Да вот вам, сочтите, – прибавил он, загибая мизинец левой руки.

– Всё вперед жалованье забираем – вот вам и счет, – сказал Тросенко, выпивая рюмку водки.

– Ну, да ведь на это что же вы хотите… что? В это время в отверстие балагана всунулась белая голова со сплюснутым носом, и резкий голос с немецким выговором сказал:

– Вы здесь, Абрам Ильич? а дежурный ищет вас.

– Заходите, Крафт! – сказал Болхов.

Длинная фигура в сюртуке генерального штаба пролезла в двери и с особенным азартом принялась пожимать всем руки.

– А, милый капитан! и вы тут? – сказал он, обращаясь к Тросенке.

Новый гость, несмотря на темноту, пролез до него и, к чрезвычайному, как мне показалось, удивлению и неудовольствию капитана, поцеловал его в губы.

«Это немец, который хочет быть хорошим товарищем», – подумал я.

XII

Предположение мое тотчас же подтвердилось. Капитан Крафт попросил водки, назвав ее *горилкой,* и ужасно крякнул и закинул голову, выпивая рюмку.

– Что, господа, поколесовали мы нынче по равнинам Чечни… – начал было он, но, увидав дежурного офицера, тотчас замолчал, предоставив майору отдавать свои приказания.

– Что, вы обошли цепь?

– Обошел-с.

– А секреты высланы?

– Высланы-с.

– Так вы передайте приказание ротным командирам, чтоб были как можно осторожнее.

– Слушаю-с.

Майор прищурил глаза и глубокомысленно задумался.

– Да скажите, что люди могут теперь варить кашу.

– Они уж варят.

– Хорошо. Можете идти-с.

– Ну-с, так вот мы считали, что нужно офицеру, – продолжал майор, со снисходительной улыбкой обращаясь к нам. – Давайте считать.

– Нужно вам один мундир и брюки… так-с?

– Так-с.

– Это, положим, пятьдесят рублей на два года, стало быть,

в год двадцать пять рублей на одежду; потом на еду, каждый день по два обаза… так-с?

– Так-с; это даже много.

– Ну, да я кладу. Ну, на лошадь с седлом для ремонта тридцать рублей – вот и всё. Выходит всего двадцать пять, да сто двадцать, да тридцать == сто семьдесят пять. Все вам остается еще на роскошь, на чай и на сахар, на табак рублей двадцать. Изволите видеть?.. Правда, Николай Федорыч?

– Нет-с. Позвольте, Абрам Ильич! – робко сказал адъютант, – ничего-с на чай и сахар не останется. Вы кладете одну пару на два года, а тут по походам панталон не наготовишься; а сапоги? я ведь почти каждый месяц пару истреплю-с. Потом-с белье-с, рубашки, полотенца, подвертки – все ведь это нужно купить-с. А как сочтешь, ничего не останется-с. Это, ей-богу-с, Абрам Ильич!

– Да, подвертки прекрасно носить, – сказал вдруг Крафт после минутного молчания, с особенной любовью произнося слово «подвертки», – знаете, просто, по-русски.

– Я вам скажу, – заметил Тросенко, – как ни считай, все выходит, что нашему брату зубы на полку класть приходится, а на деле выходит, что все живем, и чай пьем, и табак курим, и водку пьем. Послужишь с мое, – продолжал он, обращаясь к прапорщику, – тоже выучишься жить. Ведь знаете, господа, как он с денщиками обращается.

И Тросенко, помирая со смеху, рассказал нам всю историю прапорщика с своим денщиком, хотя мы вес ее тысячу

раз слышали.

– Да ты что, брат, таким розаном смотришь? – продолжал он, обращаясь к прапорщику, который краснел, потел и улыбался, так что жалко было смотреть на него. – Ничего, брат, и я такой же был, как ты, а теперь, видишь, молодец стал. Пусти-ка сюда какого молодчика из России, – видали мы их, – так у него тут и спазмы и ревматизмы какие-то сделались бы; а я вот сел тут – мне здесь и дом, и постель, и всё. Видишь…

При этом он выпил еще рюмку водки.

– А? – прибавил он, пристально глядя в глаза Крафту.

– Вот это я уважаю! вот это истинно старый кавказец! Позвольте вашу руку.

И Крафт растолкал всех нас, продрался к Тросенке и, схватив его руку, потряс ее с особенным чувством.

– Да, мы можем сказать, что испытали здесь всего, – продолжал он, – в сорок пятом году… ведь вы изволили быть там, капитан? Помните ночь с двенадцатого на тринадцатое, когда по коленки в грязи ночевали, а на другой день пошли на завалы? Я тогда был при главнокомандующем, и мы пятнадцать завалов взяли в один день. Помните, капитан?

Тросенко сделал головой знак согласия и, выдвинув вперед нижнюю губу, зажмурился.

– Изволите видеть… – начал Крафт чрезвычайно одушевленно, делая руками неуместные жесты и обращаясь к майору.

Но майор, должно быть, неоднократно слышавший уже

этот рассказ, вдруг сделал такие мутные, тупые глаза, глядя на своего собеседника, что Крафт отвернулся от него и обратился ко мне и Болхову, попеременно глядя то на того, то на другого. На Тросенку же он ни разу не взглянул во время всего своего рассказа.

– Вот изволите видеть, как вышли мы утром, главнокомандующий и говорит мне: «Крафт! возьми эти завалы». Знаете, наша военная служба, без рассуждений – руку к козырьку. «Слушаю, ваше сиятельство!» – и пошел. Только как мы подошли к первому завалу, я обернулся и говорю солдатам: «Ребята! не робеть! в оба смотреть! Кто отстанет, своей рукой изрублю». С русским солдатом, знаете, надо просто. Только вдруг граната… я смотрю, один солдат, другой солдат, третий солдат, потом пули… взжинь! взжинь! взжинь!.. Я говорю: «Вперед, ребята, за мной!» Только мы подошли, знаете, смотрим, я вижу тут, как это… знаете, как это называется? – и рассказчик замахал руками, отыскивая слово.

– Обрыв, – подсказал Болхов.

– Нет… Ах, как это? Боже мой! ну, как это?.. обрыв, – сказал он скоро. – Только ружья наперевес… ура! та-ра-та-та-та! Неприятеля ни души. Знаете, все удивились. Только хорошо: идем мы дальше – второй завал. Это совсем другое дело. У нас уж ретивое закипело, знаете. Только подошли мы, смотрим, я вижу, второй завал – нельзя идти. Тут… как это, ну, как называется этакая… Ах! как это…

– Опять обрыв, – подсказал я.

– Совсем нет, – продолжал он с сердцем, – не обрыв, а… ну, вот, как это называется, – и он сделал рукой какой-то нелепый жест. – Ах, боже мой! как это…

Он, видимо, так мучился, что невольно хотелось подсказать ему.

– Река, может, – сказал Болхов.

– Нет, просто обрыв. Только мы туда, тут, поверите ли, такой огонь, ад…

В это время за балаганом кто-то спросил меня. Это был Максимов. А так как за прослушанием разнообразной истории двух завалов мне оставалось еще тринадцать, я рад был придраться к этому случаю, чтобы пойти к своему взводу. Тросенко вышел вместе со мной. «Все врет, – сказал он мне, когда мы на несколько шагов отошли от балагана, – его и не было вовсе на завалах», – и Тросенко так добродушно расхохотался, что и мне смешно стало.

XIII

Уже была темная ночь, и только костры тускло освещали лагерь, когда я, окончив уборку, подошел к своим солдатам. Большой пень, тлея, лежал на углях. Вокруг него сидели только трое: Антонов, поворачивавший в огне котелок, в котором варился *рябко*[3], Жданов, хворостинкой задумчиво разгребавший золу, и Чикин с своей вечно нераскуренной трубочкой. Остальные уже расположились на отдых – кто под ящиками, кто в сене, кто около костров. При слабом свете углей я различал знакомые мне спины, ноги, головы; в числе последних был и рекрутик, который, придвинувшись к самому огню, казалось, спал уже. Антонов дал мне место. Я сел подле него и закурил папиросу. Запах тумана и дыма от сырых дров, распространяясь по всему воздуху, ел глаза, и та же сырая мгла сыпалась с мрачного неба.

Подле нас слышались мерное храпенье, треск сучьев в огне, легкий говор и изредка бряцанье ружей пехоты. Везде кругом пылали костры, освещая в небольшом круге вокруг себя черные тени солдат. Около ближайших костров я различал на освещенных местах фигуры голых солдат, над самым пламенем махающих своими рубахами. Еще много людей не спало, двигалось и говорило на пространстве пятнадцати

---

[3] Солдатское кушанье – моченые сухари с салом. *(Прим. Л. Н. Толстого.)*

квадратных сажен; но мрачная, глухая ночь давала свой особенный таинственный тон всему этому движению, как будто каждый чувствовал эту мрачную тишину и боялся нарушить ее спокойную гармонию. Когда я заговорил, я почувствовал, что мой голос звучит иначе; на лицах всех солдат, сидевших около огня, я читал то же настроение. Я думал, что до моего прихода они говорили о раненом товарище; но ничуть не бывало: Чикин рассказывал про приемку вещей в Тифлисе и про тамошних школьников.

Я всегда и везде, особенно на Кавказе, замечал особенный такт у нашего солдата во время опасности умалчивать и обходить те вещи, которые могли бы невыгодно действовать на дух товарищей. Дух русского солдата не основан так, как храбрость южных народов, на скоро воспламеняемом и остывающем энтузиазме: его так же трудно разжечь, как и заставить упасть духом. Для него не нужны эффекты, речи, воинственные крики, песни и барабаны: для него нужны, напротив, спокойствие, порядок и отсутствие всего натянутого. В русском, настоящем русском солдате никогда не заметите хвастовства, ухарства, желания отуманиться, разгорячиться во время опасности: напротив, скромность, простота и способность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные черты его характера. Я видел солдата, раненного в ногу, в первую минуту жалевшего только о пробитом новом полушубке, ездового, вылезающего из-под убитой под ним лошади и расстегивающего под-

пругу, чтобы снять седло. Кто не помнит случая при осаде Гергебиля, когда в лаборатории загорелась трубка начиненной бомбы, и фейерверке? двум солдатам велел взять бомбу и бежать бросить ее в обрыв, и как солдаты не бросили ее в ближайшем месте около палатки полковника, стоявшей над обрывом, а понесли дальше, чтобы не разбудить господ, которые почивали в палатке, и оба были разорваны на части. Помню я еще, в отряде 1852 года, один из молодых солдат к чему-то сказал во время дела, что уж, кажется, взводу не выйти отсюда, и как весь взвод со злобой напустился на него за такие дурные слова, которые они и повторять не хотели. Вот теперь, когда у каждого в душе должна была быть мысль о Веленчуке и когда всякую секунду мог быть по нас залп подкравшихся татар, все слушали бойкий рассказ Чикина, и никто не упоминал ни о нынешнем деле, ни о предстоящей опасности, ни о раненом, как будто это было бог знает как давно или вовсе никогда не было. По мне показалось только, что лица их были несколько пасмурнее обыкновенного: они не слишком внимательно слушали рассказ Чикина, и даже Чикин чувствовал, что его не слушают, но говорил уж так себе.

К костру подошел Максимов и сел подле меня. Чикин дал ему место, замолчал и снова начал сосать свою трубочку.

– Пехотные в лагерь за водкой посылали, – сказал Максимов после довольно долгого молчания, – сейчас воротились. – Он плюнул в огонь. – Унтер-офицер сказывал, наше-

го видали.

– Что, жив еще? – спросил Антонов, поворачивая котелок.

– Нет, помер.

Рекрутик вдруг поднял над огнем свою маленькую голову в красной шапочке, с минуту пристально посмотрел на Максимова и на меня, потом быстро опустил ее и закутался шинелью.

– Вишь, смерть-то недаром к нему поутру приходила, как я будил его в парке, – сказал Антонов.

– Пустое! – сказал Жданов, поворачивая тлеющий пень, – и все замолчали.

Среди общей тишины сзади нас послышался выстрел в лагере. Барабанщики у нас приняли его и заиграли зорю. Когда затихла последняя дробь, Жданов первый встал и снял шапку. Мы все последовали его примеру.

Среди глубокой тишины ночи раздался стройный хор мужественных голосов:

– «Отче наш, иже еси на небесех! да святится имя твое; да приидет царствие твое; да будет воля твоя, яко на небеси и на земли; хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго».

– Так-то у нас в сорок пятом году солдатик один в это место контужен был, – сказал Антонов, когда мы надели шапки и сели опять около огня, – так мы его два дня на орудии возили… помнишь Шевченку, Жданов?.. да так и оставили

там под деревом.

В это время пехотный солдат, с огромными бакенбардами и усами, с ружьем и сумкой подошел к нашему костру.

– Позвольте, землячки, огоньку, закурить трубочку, – сказал он.

– Что ж, закуривайте: огню достаточно, – заметил Чикин.

– Это, верно, про Дарги, земляк, сказываете? – обратился пехотный к Антонову.

– Про сорок пятый год, про Дарги, – ответил Антонов.

Пехотный покачал головой, зажмурился и присел около нас на корточки.

– Да уж было там всего, – заметил он.

– Отчего ж бросили? – спросил я Антонова.

– От живота крепко мучился. Как стоим, бывало, ничего, а как тронемся, то криком кричит. Богом просил, чтоб оставили, да все жалко было. Ну, а как *он* стал нас уж крепко донимать, трех людей у нас убил в орудии, офицера убил, да и от батареи своей отбились мы как-то. Беда! совсем не думали орудия увезти. Грязь же была.

– Пуще всего, что под Индейской горой грязно было, – заметил какой-то солдат.

– Да, вот там-то ему пуще хуже стало. Подумали мы с Аношенкой, – старый фирверкин был, – что ж в самом деле, живому ему не быть, а богом просит – оставим, мол, его здесь. Так и порешили. Древо росла там ветлегатая такая. Взяли мы сухариков моченых ему положили – у Жданова были, –

прислонили его к древу к этому, надели на него рубаху чистую, простились как следует, да так и оставили.

– И важный солдат был?

– Ничего солдат был, – заметил Жданов.

– И что с ним сталось, бог его знает, – продолжал Антонов. – Много там всякого нашего брата осталось.

– В Даргах-то? – сказал пехотный, вставая и расковыривая трубку и снова зажмурившись и покачивая головой, – уж было там всего.

И он отошел от нас.

– А что, много еще у нас в батарее солдат, которые в Дарго были? – спросил я.

– Да что? вот Жданов, я, Пацан, что в отпуску теперь, да еще человек шесть есть. Больше не будет.

– А что, Пацан-то наш загулял в отпуску? – сказал Чикин, спуская ноги и укладываясь головой на бревно. – Почитай, год скоро, что его нет.

– А что, ты ходил в годовой? – спросил я у Жданова.

– Нет, не ходил, – отвечал он неохотно.

– Ведь хорошо идти, – сказал Антонов, – от богатого дома али когда сам в силах работать, так и идти лестно, и тебе дома рады будут.

– А то что идти, когда от двух братьев! – продолжал Жданов, – самим только бы прокормиться, а не нашего брата солдата кормить. Подмога плохая, как уж двадцать пять лет прослужил. Да и живы ли, кто е знает.

– А разве ты не писал? – спросил я.

– Как не писать! два письма послал, да все в ответ не присылают. Али померли, али так не посылают, что, значит, сами в бедности живут: так где тут!

– А давно ты писал?

– Пришедши с Даргов, писал последнее письмо.

– Да ты «березушку» спел бы, – сказал Жданов Антонову, который в это время, облокотись на колени, мурлыкал какую-то песню.

Антонов запел «березушку».

– Эта что ни на есть самая любимая песня дяденьки Жданова, – сказал мне шепотом Чикин, дернув меня за шинель, – другой раз, как заиграет ее Филипп Антоныч, так он ажно плачет.

Жданов сидел сначала совершенно неподвижно, с глазами, устремленными на тлевшие уголья, и лицо его, освещенное красноватым светом, казалось чрезвычайно мрачным; потом скулы его под ушами стали двигаться все быстрее и быстрее, и наконец он встал и, разостлав шинель, лег в тени сзади костра. Или он ворочался и кряхтел, укладываясь спать, или же смерть Веленчука и эта печальная погода так настроили меня, но мне действительно показалось, что он плачет.

Низ пня, превратившийся в уголь, изредка вспыхивая, освещал фигуру Антонова, с его седыми усами, красной рожей и орденами на накинутой шинели, чьи-нибудь сапоги,

голову или спину. Сверху сыпалась та же печальная мгла, в воздухе слышался тот же запах сырости и дыма, вокруг видны были те же светлые точки потухавших костров, и слышны были среди общей тишины звуки заунывной песни Антонова; а когда она замолкала на мгновение, звуки слабого ночного движения лагеря – храпения, бряцания ружей часовых и тихого говора вторили ей.

– Вторая смена! Макатюк и Жданов! – крикнул Максимов.

Антонов перестал петь, Жданов встал, вздохнул, перешагнул через бревно и побрел к орудиям.

13 июня 1855 г.